

Н. ГОРЧАКОВ

ВОСЕМЬ РАССКАЗОВ

1948

МЮНХЕН

Н. ГОРЧАКОВ

ВОСЕМЬ РАССКАЗОВ

СЫНОК

НИКИТА ЗАХАРЫЧ

„...НО, ТОЛЬКО
НЕ К БРЕГАМ ПЕЧАЛЬНЫМ...“

ШЕСТАЯ СИМФОНΙΑ

СТРАНА ДОБРЫХ

СОЧЕЛЬНИК

ВМЕСТО КОЛЫБЕЛЬНОЙ

В ТЕМНОТЕ ВЕЧЕРА

Сыну моему, Николинке, посвящаю.

СЫНОК

Семеныч проснулся, как всегда, рано... В окне только чуть серело. В бараке еще было тихо. Его сожителю по комнате крепко спали, разметавшись и утонув в храпе. Они были на много моложе его, могли спать глубоко и долго, вставали опухшими и веселыми, бегали в одних рубашках в умывальник и возвращались румяными, кричавшими от леденой воды. Таким и он был когда-то. И он когда-то растирал тело снегом... Короток сон старости. Тонкий и ветхий стал сон его. Пробуждаясь на заре, он часами лежал на койке и не вставал, чтобы не будить счастливых. «Пусть выспятся! Мне то ничего, а им целый день работать...» — шептал он про себя.

В эти часы, когда лагерь спит в серой мгле зимнего рассвета, когда тишину нарушают только вопли петухов, Семеныч вспоминал сны и прошлое. Но и воспоминания тоже старели и ветшали. Раньше, вспоминая о своем подвиге в августовский рассвет 1914 года, он видел все так четко и ясно, словно это было на прошлой неделе... И росистую траву видел, и дымку утреннего тумана над речкой, и даже чуял запах пыли, поднимаемой копыта-

ми его коня. Он мог вспомнить лица всех казаков его сотни, и синь оголенных сабель, и запах пороха, дохнувший из немецких окопов... А сейчас, как он не силился, ничего не мог увидеть, кроме какого-то чужого, загорелого и запыленного казачьего офицера на коне, в котором он с трудом узнавал сходство с потертой и пожелтевшей карточкой в его бумажнике... Была и отшумела жизнь. Ничего от нее не осталось. Жизнь — это цепь утрат. Все ушло. Молодость, жена, сын, родина, здоровье. А теперь покидает и память. Все хрупче и бесформеннее становятся мысли. Ухватишься за нее... и только тлен и остается.

Старость подкралась, ворвалась и уже не уйдет. Все сохнет и жухнет, как кожа на этих руках... Сны — это ближе. Сны — это еще сегодня. Их легче вспоминать... Что за сон? Он снится ему уже в третий раз... В третий раз по лесу идет юноша с румяным лицом, золотым чубом, который шевелит встречный ветер... И улыбается, широко, как может улыбаться русский паренек... Лицо простое-простое, но что-то в нем есть такое родное, что сжимает сердце болью тоски. Как лицо сына... Сын умер шести лет. У него не было такого лица. Но, если бы он вырос, кто знает?.. И до сих пор еще сердце не совсем разжали тиски, схватившие его ночью... Сердце стало слабое. Многие умирают на рассветах. Сердце слабее всего в эти часы. Так придет и его черед. И что еще осталось терять? Ветхое, никому не нужное тело. Даже уж на работу не берут. И кому нужен мозг, теряющий прошлое? Мозг, который не может удержать долго одну мысль...

Кто-то тяжело, как конь, прошел по корридору барака и грохнул дверью. Загудела машина. Прошла, хлопнув грязью и шелестя шинами. В бараке стали просыпаться.

Семеныч сходил на кухню и принес в банках кофе для своей комнаты. За кофе он рассказывал о сне, и снова неупоминал, что это могло значить. Никого не интересовал сон Семеныча. Люди молча жевали рассыпчатый сухой хлеб, и только один буркнул: «Паренек, паренек приснился. Чепуха просто, отец. Вот коли-б три раза девка одна и та-же приснилась, тогда бы было все ясно. К чему и от чего?..»

И хотя это была пошлость, Семеныч не обиделся. Он привык к тому, что его сожители пошучивали над ним. И это было, по его мнению, вполне справедливо, ибо молодость должна смеяться над никчемной старостью над опустившимся человеком, который дожил до седины и ничего доброго не сделал.

День прошел его, как всегда — уныло и бесцельно. Несколько раз он подметал пол в комнате. Поправил одеяла на койках своих соседей. Наколочил и принес дров. Пришил пуговицу на ватнике. Заштопал левый носок. Вот и день скоротал.

К вечеру, он снова вспомнил о навязчивом сне. И опять сердце стали чуть зажимать холодные тиски. Он пошел побродить по лесу подле лагеря. Вспомнил, что есть у него знакомый один. Большим человеком некогда был в ведомстве уделов. А ныне приторговывал сахарным и гадал на картах. Он зашел к нему, стесняясь и волнуясь, рассказал о прилипчивом сне. Бывший действительный статский советник, почесав лысину, высморкался и объявил, что сон ничего доброго не предвещал бы, если бы Семеныч увидел улыбающуюся старуху. Это было бы плохо. Но, снится улыбающийся юноша, а это может означать только неожиданную радость. Письмо издали от родственников, или визу на выезд из этого ада.

Семеныч покачал головою и ответил, что он один-

одинешенек в мире. Никаких родственников у него нет, и виза никогда ему не придет, ибо он никому ненужен по причине своей слабости здоровьем и умом. Тогда статский советник молвил, что он не приложит ума к чему бы сей сон. Может и к большой неприятности, или к тому, что не следует Семенычу ходить в лес, как бы не ограбили его. К чему присовокупил новый страшный рассказ о грабеже в соседнем лесу.

Семеныч поблагодарил скотолокователя, от покупки сахара воздержался, и ушел, узнав не больше, чем знал до сих пор.

* * *

На следующее утро, он выпросил у соседей топор и тележку, и отправился в лес собирать ветки и хворост. И сборы в лес, натянутые большие рукавицы, тяжелый топор в руках и повизгивание ржавых осей тележки — все нравилось ему. Значит, он еще мог быть полезен другим, хотя бы тем, что принесет обратно нечто, дающее тепло. Он бродил по полутемному густому ельнику и отыскивал сухие низко сидящие ветви, отсекал их топором и крошил на куски. И эта работа нравилась ему. Она поглощала его мозг поисками ветвей и не пускала темные, измучившие его, мысли о старости и ничемности.

Нагрузив полным-полно тележку, он перетаскивал ее через ров на шоссе. Он поднял голову... И не крикнул, нет, он окаменел, открыв рот тяжело и дыша... Навстречу ему шел золотоволосый паренек из его снов... Если это была галлюцинация, то она была первой в его жизни. Навязчивый сон, стал чудиться на яву. Он в страхе смежил глаза, потом открыл их вновь. Парень шел на него.

Но не улыбался, как во сне... Нет, нет и улыбнулся... А потом крикнул: «Что с тобой, папаша?... Чего ты глаза вылупил?...»

Семеныч слышал уже его дыхание. Почему то закрыл глаза, не глядя схватил его за руку. Ладонь нащупала холодный ватник. Это не был больше сон. Паренек перестал улыбаться, испуганно смотрел на щупавшего его руками старика. «Да, что с вами?... Стойте, не падайте, папаша...»

«Кто ты? Почему ты мне трижды снился? Кто ты, как зовут тебя, милый ты мой?...» — бормотал Семеныч, не отпуская паренька из своих рук. Лицо его было серым, губы тряслись, и на них побежали слезы...

Сначала паренек принял Семеныча за душевно-больного. Но потом, когда старик рассказал ему свои сны, паренек совсем растерялся.

«Это не спроста, снился ты мне... Тебя послало само небо... Может быть, ты мой сын... о котором я ничего не знаю...»

Он стал спрашивать паренька обо всем. Его звали Яков Былинкин.

«Родился я в 1926 году, по бумагам в Польше, а на самом деле в Курской губернии... Живу в этом лагере... А вы?...»

Двадцать один год тому назад, Семеныч был в Болгарии, и никого у него в Курской губернии не было. Но может родственник дальний? Нет, ничего не было в словах Яши, чтобы могло подтвердить и это последнее предположение. Это был чужой и совсем простой юноша. Но лицо его было таким родным, словно Семеныч его выныячил сам. Он был сиротой. Отца сгноили в концлагере в коллективизацию. Мать померла в тиф... «Значит Бог послал его мне, как сироту...»

— «Я усыновлю тебя... Я буду тебе роднее родного отца. Я не знаю почему, но твое лицо такое мне близкое... И весь ты, словно плоть от плоти моей...»

Лицо у Яши было бледное и серьезное. Многого он не понимал в бормотаньях старика, но одно ему было ясно — что случилось нечто загадочное, чего его мозг не в силах был постичь. «Да, вы не плачьте, папаша. Успокойтесь...»

— «Я такой одинокий... У меня нет ни одной родной души на свете. Такая собачья старость... Я о тебе буду день и ночь заботиться. Яшенька... Ты, вот, и одет как-то плохо. Я тебя одену. Ты, красавец у меня, золотоволосый. У меня кое-что скопленно. Не от жадности копил, а от того, что некуда тратить было. Было у меня серебрянное имянное оружие. Таскал всюду за собой... Я ведь, Яшенька, бывший казачий офицер...»

— «Старшим лейтенантом, что-ль были?»

— «Нет, Яшенька... Это было давно. У нас таких званий не было. Я в чине хорунжего был... Таскал я пожалованную за одно славное дело пашку... А потом смалoduшествовал. Приказы, обыски. Найдут. Хоть холодное оружие, но доказывать и унижаться совестно... Вот, я и продал на лом... Есть у меня деньги... А ты, небось, и ешь плохо. Это — нельзя. Тебе надо хорошо, плотно есть. Ты — большой, молодой... И рубашечка у тебя грязная и старенькая... Я тебе, сынок мой все приведу в надлежащий порядок. Я все умею. Сколько лет в войсках, да в холостяках. Лучше меня никто не выстирает... Ну, могу я тебя сынком своим звать?... Согласен ты? Я тебе в обузу не буду...»

Яша посмотрел на него голубыми глазами, посмотрел на заплаканные, но улыбавшиеся, добрые глаза старика, сам улыбнулся и сказал.

«Конечно, зовите меня сыном, папенька... Вот, Господи, чего не бывает на свете... Ходил к бауэрам за картошкой. Картошки не достал, а нашел в лесу отца себе...»

Семеныч обнял его. Почувствовал в руках молодое упругое тело, в котором колотилась кровь. Над его глазами качнулась золотая прядь Яшиных волос, и он поцеловал его в холодную румяную щеку...

* * *

С того дня Семеныча с трудом узнавали. Это был уже совсем иной человек. И горб его расправился, и потухшие глаза вновь горели, и морщин на лице как будто стало у него меньше. Да и он сам чувствовал, будто кто-то взял, выпустил из него старую кровь, рождавшую мысли о ненужности и смерти, и влил чью-то юную кровь. Ушли унылые дни, похожие на безделие в богадельне. С рассвета и до ночи хлопотал, бегал и суетился Семеныч. Ранехонько готовил он сытный завтрак своему Яшеньке, и нес его в барак сына. Сынок работал где-то в гараже, и нужно было поспеть до его отъезда на работу. Весь день Семеныч стирал, гладил, бегал по лагерю, что-то покупал, что-то менял. И стирал он и гладил лучше всякой немки-прачки. А стирая, напевал песни, которые пел лет тридцать тому назад. По несколько раз на день он каждому своему сожителю отдельно рассказывал о том, как смышлен, красив и силен его Яшенька. Каким «дэнди» он выглядит в костюмчике, купленном ему Семенычем. И о том, как он его впервые привел в церковь к причастию. «Яшенька то мой вырос там, среди безбожия, и креститься даже не умел...» Он ловил на лагерных улочках всех знакомых казаков

и все рассказывал о достоинствах своего сынишки. Он не пропускал ни одной службы в церкви, стоя на коленях, с влажными глазами молил Бога, чтобы он защитил его Яшеньку. Все чаще сержителю видели его шепчущим на ночь долгие молитвы. Он и к инженеру знакомому не раз бегал, чтобы узнать не опасна ли та работа, которой занимается Яшенька в гараже? «Ему бы учиться надо, в университет итти, а он чинит вонючие и грязные машины... Разве это занятие?...» Сынок возвращался перемазанным и усталым, и это повергало в ужас Семеныча. Старик просил парней живших с Яшей в одной комнате не шуметь, когда тот ляжет спать после работы. Парни ржали и давились от хохота. И даже злился Яша, бурча: «Ну, что вы за чепуху несете, папаша... Ведь, это-же общая комната... Что я ребенок вам грудной?...»

«О, если бы ты был бы маленьким ребенком! Как бы я тебя укачивал и носил на руках... И мыл бы сам...» — думал старик.

Иногда Яша хмурился, провожая Семеныча, говорил ему в коридоре:

«Да вы, папенька, не бегайте по сто раз на день ко мне в барак. Ведь, соседи смеются надо мной, проходу не дают... И над вами смеются... Я, ведь, не маленький... Что вы, в самом деле... Каждый день стираете мне исподники. Курам на смех, папаша...»

* * *

Как-то вернувшись с работы, Яша увидел, что на его кровати сидела улыбающаяся во весь рот, румяная и смазливая девка. Это была Катька, та самая Катька с

которой он пять лет работал вместе у бауэра в Австрии. Розыскала его. Сидела, разодетая, в каком то огненном шарфике на шее и кошачьей шубке. «Здорово, Яшук! А я тут изоржалась прямо, твои товарищски, про «папашу» твоего незаконнорожденного мне все рассказывали. От умора, то! Где ты оторвал такого хрыча?... А ну, ну покажись... Нечего рожа измазана! Ты что это, на кочегара переквалифицировался?... Чучело!...»

Катка!... Сколько вечеров слышал он этот хохот в сеновале, из дверей которого были видны меркнувшие синие горы в черных лесах...

Она раздобрела, но была шикарной. Куда там, и не сравнить с той девкой в коровнике Франца. Всякой всячины прихватила с собой. И сало, и самогон-«линдавка» и французские сигареты.

«С чего это ты так расфуфырилась и разожралась? За спекулянта какогонибудь выскочила замуж?» — немало ревниво и зло спросил Яша.

«Хуже! Сама торговлей занялась. Мотаюсь из Кемптена во французскую зону. Торгую всяким барахлишком... Вот и все...»

«И пить, я вижу, стала?...»

«Запьешь от такой мотни!...»

К ужину Семеныч прибежал с какими-то пакетиками, но его поджидал у дверей парень из комнаты Яшеньки. От парня несло водкой.

«Папаша, к нам нельзя... Ваш сынок велел сообщить, что он остался на ночную работу в гараже... А к нам нельзя... У нас пьянка и бабы... Понимаете? А пакетики? Пакетики давайте. Вручим, как только ваш первенец вернется...»



Семеныч побрел домой и всю дорогу ворчал: «Какое безобразие!... Дня им мало... Из бедного мальчика итак все жилы вытянули. Шутка сказать: ночная работа! Боже, что делается, что делается на свете!...»

Ни ужинать он не мог, ни спать. Нервничая он бродил по корридору барака, и, вдруг, остановился. «Эх, я старая тетеря! Как же мне в голову сразу не пришло... Конечно... Пойду к нему в гараж. Принесу вкусного поесть. Да и помогу ему, мальчику моему. Я знаю, он будет запрещать мне. Но, я стар, а все-таки помочь могу. Буду таскать ему гайки... Вместе и грузовик целый поднимем... Как это мне в голову не пришло сразу?...»

И он отправился в барак сына, чтобы разузнать дорогу в гараж и прихватить оставленный пакетик с съестным.

Разве не так он мечтал в молодости: быть с сыном вместе в одном полку, когда прикрикнуть, когда прикрыть грудью, когда гореть от счастья гордости за него?... Ну, казака из Яши не получилось. Ничего, и в его деле-я буду всегда помощником... Вот, уедем куда-нибудь за океан. Вместе будем строить домишко. Вместе поднимать целину первобытную...

Войдя в барак сына, он уж издали услышал его голос, Яша пел... Семеныч бросился бегом, с радостно заколотившимся сердцем...

Он вошел в прокуренную сизую комнату... и его встретил оглушительный хохот. Яша сидел на кровати в растегнутой рубаше, пьяный, обнимая какуюто черноволосую девуку... Пьяные соседи Яши чуть не катались от хохоту и орали: «Папашка-а-а! Не выдержал? Стосковался по единоутробному?!...»

Яша встал и двинулся к Семенычу. Еще никогда старик не видел такого страшного лица Яши. Оно было пепельным, и глаза горели пьяной ненавистью. Он взял Семеныча за борт ватника и зарычал сквозь стиснутые зубы: «Ты чего пришел?!... Тебе было сказано не приходить?... Чего ты из меня, старый чорт, посмешище делаешь? Чего ты ко мне прилип? Исподники пришел забрать постирать. Прикажешь снять? Сейчас спущу штаны, не постыжусь своей знакомой... Уходи, чтоб и духу твоего не было!... Понял?...»

От дыма, самогонного чада, визгливого смеха девки, катавшейся по кровати, от лица Яши, у Семеныча все завертелось в глазах... Пятясь, он пошел к дверям, шепча: «Я уйду, уйду, дорогой... Не надо тебе больше пить.. Не пей, самогон — это отрава... Ухожу, ухожу...»

Спотыкаясь он шел по темной дороге и бормотал: «Ничего, ничего... И я в молодости тоже пил... Ну, пьян мальчик, напоили скоты... Ничего, все пройдет... Я ему докажу, что это плохо. Он добрый, он послушный... Таковую гадость пить... Боже, Боже мой...»

* * *

Ночью пришла буря. Лес гудел и в нем метался черным зверем ветер. Ставни судорожно скрипели на ржавых болтах. Семеныч не мог уснуть. Какие-то темные, бесформенные мысли, похожие на облака этой бури, прбносились в его мозгу. Иногда он впадал в полузабытье... Ему чудилась льдина на мгlistой, бескрайней и бурной реке... На ней стоял в растегнутой белой рубашке Яша... Лицо его было пепельным и искаженным злобой... То, вдруг, черные клубы гари бесновались вокруг Семеныча... Он брел среди скрежета рушащихся домов и оглушительных ударов с неба... Обгоревший, потерявший все... Мир был похож на выжженную пустыню, под

чугунным, давящим небом... По этой бесконечной пустыне спотыкаясь бежал Семеныч и что-то кричал, страшным голосом... Не понимая: он ли это кричит или воеет буря...

Он просыпался... И опять начинал думать о том, что еще не все потеряно... Первый раз напоили его мальчика. Грубые скоты!.. Он уведет от них Яшү. Он будет оберегать чистоту его души. Он должен, ради сына, многое вспомнить, чему учила его некогда жизнь. Ведь, знал же он когда-то ее светлые откровения, очень многое знал... Он все вспомнит, все выжмет из своего ветшающего мозга — и передаст сынку... Вложит в его душу добро, любовь к людям, к родине, Богу, к лесам и зорям... Человек должен излучать доброту, как огонь струит тепло... Доброта и есть человечность. Доброта—это не от природы, она — неземного происхождения... Ему немного осталось жить,.. Это особенно ясно он чувствует сегодня, в темную ночь, полную злобного воя... Он будет торопиться. Остаток дней своих, весь до тла, он отдаст своему сыну... «Господи, Всевышний! Благодарю Тебя за счастье отцовства, за эту радость, которую Ты мне подарил в конце моей сирой и злочастной жизни!», — шептал он в ночь.

Снова обрушился с воем ветер. Трещали сосны в лесу. Барак дрожал, и что-то незримое кололось в мутные стекла...

* * *

Утром в комнату, где жил старик, вошел Яша. Лицо его было хмурое, опухшее. В руках он держал сверток.

Семеныч засуетился, бросился к нему, но тот не дал ему и слова вымолвить.

— Обождите, папаша! Дайте мне сказать сначала... Вчера вечером я был пьян. Я нахамил вам. Простите,

если можете. Хамить мне незачем было. Вот костюмчик, вами подаренный... Вот, все четыре рубашки. И носки... Правда, я их износил, но вы заштопаете... И прочее и так далее, что вы мне таскали... Я женюсь... И моя жена говорит, что вы ей несимпатичны, и вообще не нужны нам... Разговоры, конечно, можно разговаривать, но не стоит. Спасибо вам за ласку... А сыном я вашим больше не хочу быть... Не сердчайте. Знаете, женитьба, то да се... Ей Богу, мне не до вас будет..

У Семеныча было такое чувство, будто у него кто-то вынул изнутри все теплое... И даже язык омертвел, и он не может издать ни звука...

И только, когда Яша, шмыгнув носом, положил сверток на чужую кровать и пошел к дверям, Семеныч хрипло крикнул:

— Я-Я-ша!.. Что-ты.., Я-ша... Да, как ты... Да разве я буду мешать тебе... твоему счастью!.. Женись... Я ее не знаю, но женись с Богом!.. Родненький, мой... Я ни чем вам не буду мешать... Я и дрова вам буду припасать. И ей, коль нужно, постираю. Я буду детей ваших... — и задохся, от спазмы в горле. И чуть слышно прошептал: — Как же я без тебя жить то смогу?..

Яша покривился и бросил:

— Вы, папаша, не психуйте... Дело у нас решенное... Нам не до вас... Только, без слез... Что вы — маленький? Образованный, и не понимаете...

И ушел, сильно прихлопнув дверь.

* * *

Весь день Семеныч провел в каком-то тупом и страшном метании между своим бараком и бараком Яши.

Буря валила людей с ног. Улицы были пустыми. Струн дождя стегали как прутья. Семеныч брел без шапки, в

растегнутом ветром пиджаке. Подходил к дверям, трогал замок и плелся обратно. Садился на свою койку, и, просидев несколько минут, опять, шатаясь, гонимый ветром в спину, шел посмотреть на замок...

Уже совсем стемнело. Повалил снег и поднялся буран... Накопец замка на двери больше не было!.. Даже не постучавшись, вошел растерзанный старик с мокрой головой в снегу... Кровать Яши была пуста... Совсем пуста. Остались только сосновые доски. Двое парней утрюмо что-то жевали за столом.

— А где-же?.. — побелев, выдавил Семеныч.

— Сыночик ваш?.. Далеко, папаша... Уехъл со своей кралей... А куда ухал — велел не сказывать...

* * *

Этого не могло быть!.. Он не мог уехать, не сказав ему... Он еще сидит на вокзале... или идет еще... — бормотал про себя Семеныч.

Он бросился в тьму леса... Вышел в поле... Словно железной стеной стоял буран. Ветер не давал сделать и шагу... Снег слепил глаза...

Во что-то яростное, злобное и мутное, медленно пробивался Семеныч. Падал в канавы. Полз по мокрой, студенной земле...

Он пытался перекричать воющую тьму: «Я-а-Я-а!..»

Он становился спиной к бурану, тяжело дышал, вытирал залепленные снегом лицо... И потом снова бросался во что-то, бывшее и отталкивающее его назад...

* * *

Над землей, от ледянной грязи до небес, мокрым зверем метался буран...

НИКИТА ЗАХАРЫЧ

Бог знает, где он теперь, этот кряжистый можайский мужичек с рыжей бороденкой?.. Да, рыжие, как осенний лист, бороденка и усы. А у губ, волос выгорел и кажется словно позолоченным. Глаза — светло-голубые и всегда веселые... Ходил он в стоптанных деревенских сапогах, на голенища свисали пузыри латажных штанов, а голову украшала кепка, столь растерзанная, будто ее вчера грызла свора собак. Кепку эту, по заверениям Никиты Захарыча, он купил в сельском кооперативе перед самой войной. «Маленько пообносились она, а нечяво, греет стерва! Не теряет свою служебную назначению», — говаривал он.

И в таком, можно сказать, колхозном наряде встретил я Никита Захарыч не подле какого-нибудь гумна или деревенского выпаса, а самом центре Вены...

Правда, это уже была не та Вена, сияющая огнями, звенящая вальсами и смехом. Это был мертвый город ободранных домов, очередей, погружавшийся вечером в черную мглу, по которой бродили синие призраки трамваев; но, все таки, этот город назывался еще Веной и стоял на берегах Дуная.

Как-то, около полудня, я сидел у памятника Штраусу, в парке подле венского ратхауза. Первое дыхание осени уже позолотило листву. От деревьев и земли тянуло той прохладной горечью, которой пахнет сентябрь. На солнечной стороне сидели старые венцы и грелись. Им уже было зябко... Какое-то одно печальное чувство навевал мне и дух надвигающейся осени, и близкой неизбежности смерти этих стариков, последних современников той золотой Вены, которая застыла в вальсе на мраморных барельефах крыльев штраусовского памятника; и ощущение этого умирающего города, который, быть может, завтра добьют бомбы... Неизбежное умирание...

Послышался автомобильный гудок, а за ним крик...

Я обернулся. На грузовике, подвезшем группу «остарбайтеров» с лопатами, стоял оборванный колхозничек и весело кричал: «Эй, землячки, держись, не падай! Мощная подкрепления из кляч и калек прибыла!..»

Чем-то совершенно невероятным показался мне этот рыжебородый мужичек на фоне готики ратхауза...

Это и был Никита Захарыч.

Стоявшие на грузовике парни рассматривали ратхауз и говорили:

«Церковь, иль монастырь какой-то... Громадный...»

«Да, какая там тебе церковь? Нешто у церкви бывает пять колоколен?.. Дворец какой-нибудь королевский...»

«Дворец! тоже брякнет... Коли дворец — то была бы ограда, охрана и одни двери... А то видишь сколько дверей... Королей у них нет...»

«Ребята! Выгружайся!..»

Я поднялся и пошел посмотреть: куда это он выгружаются?

Их привезли на стройку водоема для гашения пожаров от фосфорных бомб.

Случай дал мне возможность лично познакомиться с Никитой Захарычем. Завыли сирены воздушной трево-

ги... Потянулись через парк люди с чемоданами и детьми, торопившиеся в бункер за ратхаузом. «Остарбайтеры» крепко повеселели. Кому страх, а для них «аларм» — это часа два отдыха от каторжной работы. Я спустился с ними вместе в бункер, когда там появился какой-то рыжий немец, в коричневой форме с повязкой партийца. Морда у него была бледная и злая, и он казался ощерившимся диким кабаном. Завидя значки «ост» на груди парней, он заорал «раус!» и стал гнать их из бункера. Я велел ребятам обожждать и никуда не уходить. Я пытался защитить их, и наговорил немцу порядочно обидных слов. В это время меня потянул за рукав Никита Захарыч: «Да бросьте вы их улещивать. Слава Богу, что нас отсюда гонят! Вы их сердечно поблагодарите за это...»

«То есть, за что-же мне благодарить то их?» — поразился я.

«Да, вы только подумайте, коли мы здесь останемся., а, вдруг, бомба сюда влечит. Мне то на бомбу эту наплевать, и не боюсь я ее... Но, штоб меня зарыло, как есть в последний могиле, вместе с этакой немецкой швалью? Штоб на моем бездыханном трупe вот, к примеру сказать, лежал труп той толстой немки? — Да никогда в жизни, такого сраму и надругательства не позволю! Не хочу с немцами лежать в одной могиле и все! Пойдем, ребята!»

Он был прав, тысячу раз прав, можайский мужичек, ибо и мертвые могут „срам иметь“! И я, вместе с ним, стал подниматься к выходу. Правда, уже другие немцы, не пустили нас в город. Они опасались, что мы с Никитой Захарычем можем за час разграбить всю Вену. Мы остались у входа в бункер, так сказать, на самой границе гибели и спасения. По голубому небу уже шли ослепительно сияющие сталью американские самолеты. Шли спокойно, выровнявшись, как на параде...

Зенитные батареи так грохотали, что казалось будто весь город засыпан бомбами. Никита Захарыч, прикрыв огромной ладонью глаза от солнца, возрился на небеса, и широко заулыбался: «Вот это да!... Организованные ребята! Прут себе и ни на кого внимания не обращают...»

Один из самолетов, завыв, пошел в пикэ, и Никита Захарыч заорал в небо: «А ну-ка, наверни! А ну-ка, садани их по башкам, голубчик! Давай, крой милый! Глуши их, чертей окаянных!»

Грохот зениток стал еще оглушительнее. Никита Захарыч с весьма довольным лицом обернулся к жавшимся у стен бункера костлявым старичкам из «люфт-шуд вахе» и весело закричал им: «Ага, капут вам, немчуги?! Сейчас, как навернет, так и касок ваших не сыщешь!»

Немцы, прямо таки посерели от этого торжествующего хохота и закричали: «Что говорит эта русская bestия?»

«Он восхищается вашим бравым видом и безотказной работой венских зенитчиков» — соврал я, чтобы выручить Никиту Захарыча от расправы.

Вообщем, мы с ним подружились. И каждый день, поджидая открытия дверей ратскеллера на обед, я розыскивал своего дружка.

Три года тому назад, на какой-то растерзанной снарядами станции под Можайском, немцы грузили для отправки в Германию скотину и людей. Скотину гнали в вагоны всякую, людей — кто был покрепче. Скотину не таврировали и не вешали на нее ярлыков. На голую спину Никиты Захарыча поставили лиловый штемпель с хищным орлом, защищавшим крыльями паучка-свастику, а на шею повесили на веревке картонный ярлык. Печать на коже означала, что Никите Захарычу вогнали под кожу все мыслимые прививки, а ярлык заменял паспорт раба арийцев. И может ничто так не озлобило против немцев, доброе сердце старика, как воспоминание о ледя-

ном сарае, в котором стоят голые посиневшие люди и их грубо штемпелюет толстый немецкий фельдшер.

За эти годы, из всей арийской культуры, Никита Захарыч усвоил только четыре немецких слова: «арбайтен», «нихтс», «капут», и «эссен». Но, при помощи этих четырех слов, он умудрялся вести длинные разговоры с венцами и успешно грызся со своими погонщиками. Последним он часто кричал: «Нихтс эссен—нихтс арбайтен, и капут»!

Этот лаконизм я расценивал на равной высоте с крылатыми фразами самого Юлия Цезаря. К этой формуле Никиты Захарыча ничего нельзя было ни прибавить, ни убавить.

От сердобольных венков он иногда «вышибал» кусок хлеба, или несколько «рейхсмарок», атакуя их таким маневром. Сначала он показывал рукою на венку и говорил: «Вам нихтс эссен», — потом переводил ладонь на свою грудь, «мне нихтс эссен... Вам капут и мне капут».

Прибавляя к этим чатырем сакраментальным словам жесты, лукавое подмигивание и, бесполезные для венцев, русские слова, он мог все объяснить и всеми быть понятным. И подчас даже пытался венцам объяснить всю политику. Заменив недостающее слово «война» звуком «бух» и жестом, показывающим бомбардировку с неба, он им говорил: «Бух и бух! Капут и капут! Нихтс — нихтс эссен, все вы капут и бух-бух капут! И храбрые старые венцы, одобрительно покачивали головами и говорили, что «клюге руссе, хат рехт».

В обеденный перерыв, похлебав жидкой бурды с брюквой, привезенной в термосах к строящемуся водоему, и желая раздобыть цыгарочку, Никита Захарыч иногда давал целое представление перед памятником Иоганну Штраусу. Он показывал на два крыла, шедших полукругом от памятника, где на мраморе застыли в вальсе пары, подмигивал и кричал венцам: «И мы тоже можем! Ски-

дывал на землю свою изглоданную кепку и пускался в трепака.

Венцы хохотали до слез, а иногда у них набегала слеза и без хохота. Этот голодный и оборванный, «люстиге руссе», весело пляшущий между двумя алармами, быть может, напоминал им о волшебной старой Вене, о давно забытых танцах на улице, о потерянном навсегда озорном весельи.

И был еще один аларм. Но, мы уже с Никитой Захарычем не пошли ни в какие подвалы. Мы остались в парке. Он распотрошил три найденных окурка, сделал из них цыгарку, раскурил ее и расфилософствовался.

«Война, война... А с чего война? — Известно с чего. Только, кто правду скажет. Правда, как грязные сподники стала. Чего-ж их людям казать. Правда и глаза колет, и язык жжет!. Сказывают ученые люди, что войны все проистекают из-за скверных идравов королей всяких и гитлеров, да из расхождения в интересе промежду капиталистов... Только все это — обман, та пустословие. Никакой расхождении итересов у них нет. А просто на просто, кажиные двадцать лет народу на земле расплождается столько, что ни жрать, ни дышать нечем становится. Вот и решают министры да короли совместно ету положению. И кто-нибудь такой рапорт им докладает:

«Так што Ваши Величества, да Ваши Превосходительства, причитается стребить сполна два десятка миллионов глоток, меньше никак не выйдет, коль от смерти живот свой спасти хотим»... Ну, какой-нибудь король, может, только и скажет: «А нельзя ли уважаемый министр-ученый, на одном десятке сойтись? Не сбавит ли? Цифра то больно агромадная...» А лепортующий ему только и бросит, что: «Никак нельзя Ваше Величество, потому что цифры у меня математические и приход-расход научно выведен...» Ну, как решат, так и почнут!.. А народ,

што? — народ-дурак. Ему они в газетах пропечатают, что, дескать, не вырезать лишних едаков идем, а «свободить» братьев, от злодеев-соседей направляемся... Вот, милый мой правда о войне-то! Много едоков в мире, кормов не хватает, вот и все. А все остальное-кривда, да обман хромой...»

Он смотрит на небо, глазами такими же ясными и голубыми, как небо над Дунаем, разгладил рыжую бородавку и прислушался.

«Ишь, как оглоблей по грязи ухают!... Кидют бомбы!... Сокращают потребителей хлеба... За-нят-на-я петрушка!..

„...НО ТОЛЬКО

НЕ К БРЕГАМ ПЕЧАЛЬНЫМ...“

Нас трое на скамье вокзального сквера. До поезда еще долго, и время ползет тягуче, как заблудившееся облако на этом небе бесконечной засухи. И разговор двух незнакомых мне соотечественников также безрадостен, как этот пыльный и чахлый скверик у вокзала... Сгоревшая от зноя трава, сохлые листья, покрытые белой пылью, какая-то ржавая гайка, скомканные бумажки и опять, все пропитавшая, едкая пыль... И разве не похоже страшное время, в котором я живу на эту невмочь тягостную засуху? Какие суховеи очерствили души людские? И чувства и мысли пожухли, как листья на кусту у грязного забора вокзала...

Два соотечественника устало болтают между собою и мне почему-то кажется, что у них на зубах хрустит песок. Они говорят о том, что табак, которым они мучительно затягиваются, «не тово», но ничего не сделаешь, другого нет; что кормить стали «не тово», хлеба подкупить стало трудным, и если они не достанут картошки у «бауэров», что будет плохо; что в бараках можно задохнуться, что

негде достать клочка кожи на разбитые ботинки... И опять о нужде и голоде, пропитавших все их дни...

Судя потому, что старик с седенькими усами говорит очень вежливо и употребил выражение: «какой-то безнадежностью от всего этого веет», он очевидно, принадлежит к старой эмиграции. А по резким безжалостным морщинам, избороздившим лицо второго и потому, что он сказал: «разве на лагерную зарплату проживет кто?» — он принадлежит к новой эмиграции.

Вот, сошлись они на одной замызганной скамейке два поколения русской эмиграции... Быть может, двадцать семь лет тому назад, под каким нибудь Перекопом или Астраханью, они стояли друг перед другом, как смертельные враги... А теперь их сроднил один душный барак и объединили поиски картошки, за которой они отправляются в путешествие к баварским «бауэрам».

Один нажил горб и старость в скитаниях по Европе. Другого избороздили горькие морщины от рабства у немцев и годов нищеты на родине.

И мысли их одинаково горьки, как дым того табака-самосада, который они великомученически тянут...

«Да, простите, пожалуйста, я так и забыл спросить вас: куда вы записались на выезд?» — говорит седоусый.

«Да в Венецуэллу...»

«В Венецуэллу?...»

«Вы тоже, туда зарегистрировались?»

«Нет... Я уже там свое отжил... Ну, да я прожил пять лет в Венецуэлле».

«Как, так?...» — Хмурый человек смотрит на старика и плохо соображает. Как это так? Еще только «регистрируют» туда, а этот... успел уже пять лет там прожить. Наконец он понимает, что было когда-то время, что русский человек мог даже и в Венецуэлле безнаказанно жить.

«Ну, и как там, насчет питания и житья?»

«Венецуэлла, мой дорогой, это — рай для юношей, и

ад для пожилых людей. Тропический климат требует первосортного здоровья. Для вас, она покажется адом. Вы, ведь вот тут клянете баварскую засуху, а ведь, это — детские игрушки, рядом с тропическим адом...»

Второй помолчал, закрыв глаза, и потом очень тихо сказал:

«Я знаю, что там — ад... - А поеду... Куда угодно, в любой ад, но только подальше от своей родины и землячков...»

Он замолчал, глядя на дым своей цыгарки, а его слова, как камень в горле, застряли в моих ушах... «в любой ад, только подальше от своей родины...»

Это — очень страшные слова...

Изгнанники и эмигранты были всегда и повсюду. Мы знаем и горечь Пушкинских строк:

«Лети, корабль, неси меня к пределам дальним
По грозной прихоти обманчивых морей,
Но только не к берегам печальным
Туманной родины моей...»

И в далеком и близком прошлом, люди покидали родную землю отчизны но еще никогда люди, обледенев от ужаса, не покидали крова и не разбегались, как звери по лесам, услышав что в лагерь приедет комиссия «землячков»; история еще не знала таких случаев, чтобы люди, узнав, что их везут на родину сами перерезывали себе горло, бросались на ржавую проволоку ограды и раздирали себе вены; чтобы люди приближаясь к пределам отчизны кидались на штыки, ища смерти...

И слова этого простого человека, мученика «ост-арбайтерских» лагерей показались мне приговором над историей нашей родины за последнюю четверть века...

ШЕСТАЯ СИМФОНИЯ

В деревенской харчевне «Под голубым карпом» по вечером дымно и тепло. От едкой гари того зелья-самосада, которое курится в трубках баварцев, начинает болеть голова... Это не табак, а помесь горелой рогожи с копченной подошвой. А уйти нельзя — за окном осенняя распутица, стужа и дождь. И среди руин да грязи — маленький темный дом, а в нем промерзшая конура. Здесь-же, в харчевне прогрето трубками и теплом, струящимся от людей...

Часами, не вытаскивая из выпяченных и отвислых губ, сосут и сосут баварцы свои зловонные носогрейки. Какой жестокой и грубой натурой надо обладать, чтобы целый вечер сосать этот горький и едкий дым дикого табака!.. И стучать, без конца стучать кулаком по столу, швыряя замусоленные карты.

Каждый вечер, одни и те-же, сидят за столами и бухают кулаками по столу. Трясущейся рукою счастливца загребают по десять пфеннигов вечернего выигрыша. И руки у них громадные, как лопата, покрытые жухлой кожей, вспухшими жилами и рыжими веснушками. Лица —

важные и серьезные, как у людей, выполняющих ежевечерний почетный долг...

На краю длинного стола, за которым сижу я, приютился новый пришелец. И одежда его и лицо безжалостно измызганы жизнью. Она уже почти прошла, оставив сутулую спину, множество морщин, потухшие глаза, усталость и нищету... Мы с ним одни за этим столом. А там, за клубами дыма — буханье баварских кулаков; там непонятные люди, которые могут целыми вечерами пить желтую воду без смысла и вкуса, называемую в виде издевки «пивом».

Пришелец, подобно мне, отказывается от желтой бурды, навязываемой ему кельнершей, и это уже одно располагает меня к нему. Он заказывает суп и «штамгерихт», ибо у него нет карточек — и я уже полон симпатии к нему, и даже приветливо улыбаюсь, услужливо протягиваю соль, до которой незнакомцу далеко тянуться.

Моему сердцу всегда были родственны люди ничего не имеющие. Правда, сейчас святая бедность обесценена, потеряла свою поэтичность, ибо все стали нищими. Великие и древние города и те покрылись рубищами руин, и безногие люди с протянутой рукой сидят под стенами домов-калек. Раньше, бедность служила гарантией, что ты имеешь дело с хорошим человеком. Сейчас стали нищими даже хищники и грабители.

Он склонился над супом, а я осторожно его разглядываю, и сердце тяжелеет и наполняется холодом... Жизнь безжалостна и природа неумолима. Страшна старость, когда она вместе с нищетой врасплох нападают на человека и бьют его, не давая опомниться, пока он не свалится на землю и не оскалит рот в агонии.

Сохлая, тонкая кожа на руке, держащей ложку... Человек высыхает, как клей, не только физически, тканями. Черствеет, как хлеб, его сердце, его чувства, усыхают чувства, усыхают его интересы... Кто знает, что

волновало этих старых баварцев двадцать лет тому назад? И сейчас — их волнуют пфенниговые страсти. Целый вечер сидеть в чаду, а, вдруг, — хороший прикуп, и можно будет унести домой целых двадцать пфеннигов и показать их старухе.

Мысли не кипят, не текут, как горные потоки; они медленно и уныло шелестят, как осенние листья. Выцветают и мутнеют глаза. И мир для этих стареющих глаз — кажется вылинявшим и холодным...

Да, конечно, есть и величественная старость седых и мощных как древние дубы стариков-крестьян, окруженных внуками; старость отшельников и мудрецов, седых ученых, дарующих человечеству великие открытия, но в массе стареющий бедный человек нашей цивилизации ужасен. Ни одно животное не стареет так жалко и унизительно... Кто этот человек в морщинах, который торопливо глотает водянистый суп, стыдится своих оборванных рукавов, своих трясущихся рук, и куда он пойдет в ночь с этим мешочком? И не заслужил ли он своей жизнью — тихого сада, покоя на закате и покоя в душе?...

Он, вдруг, встал, взял тарелку с картофелем... Неужели, он почувствовал и понял мои мысли? И оскорбился... Он перешел за стол под противоположной стеной. Он попросил извинения у толстого баварца с бычачьей шеей, оглушительнее других хлопавшего по столу кулаком с картой, и поставил свой «штамгерихт», но не притронулся к нему, а прильнул ухом к стене... Сначала мне это показалось безумием... Но, сквозь гам голосов, я расслышал глухую музыку, полившуюся из включенного радио... Я не мог уловить мелодии, а он напряженно и мучительно вслушивался...

Да, это была шестая симфония Чайковского!.. Она еле была слышна в грохоте шлепанья картами, стуке пивных кружек и криках игроков...

Стареющий, оборванный человек, встал, чтобы приблизить свои уши к репродуктору. Его погасшие глаза, вновь горели огнем, он радостно улыбался и чуть шевелил губами, вторя звукам...

Он, на очень плохом немецком языке попросил крутобедрую и краснорожую кельнершу усилить звук радио, но та ответила, что это будет мешать гостям, играющим в карты...

Широкое, бескрайнее, как русская степь, Largo текло в этот чад и гул... Оно распирало грудь, оно заставляло сильнее биться сердце, оно наполняло светом, мощью, радостью, и бежали мурашки по спине...

Оно напомнило и мне, и этому морщинистому человеку, что у нас была и будет бескрайняя, великая и святая родина, которая, как снежные хребты Памира возвышается над этим злым и тупым миром игроков в карты по пфеннигу. Добрая, мудрая и приветливая Русь, которая никогда не бросала на чужеземцев таких гадких взглядов, какими окидывают сейчас эти баварцы прильнувшего к стене оборванного человека, который может оставить капусту и картошку ради какой-то музыки. Родина, на которой не было ни «штамгерихтов», ни желтой бурды, ни бесконечного голода, нищиты и издевательства. Родина, на которой можно было радостно стареть, где человек никогда не превращался в чужую, старую и никому ненужную собаку, ибо она была великой и широкой страной, как Largo из шестой симфонии Чайковского.

СТРАНА ДОБРЫХ

Уже давно стемнело на улице, а я все лежал в кровати...

Ни одного отблеска далекого огня не появлялось в черном окне, ибо была война, и еще не дали отбоя воздушной тревоги. Где-то очень далеко ухало. Дребезжали стекла. В комнате было также холодно, как и на улице. Уже январь, но еще ни разу я не топил печь, и уже много лет не был сыт, ибо была война.

Вчера город бомбили. Три часа я просидел в ледяном погребе. Лица людей в этом «люфтшютц-келере» были пепельными от страха. Они пытались шутить, пошло и несмешно, как это умеют делать только немцы. Веселья храбрых арийцев у них явно не получалось. После близкого разрыва бомб, они замирали, а потом истерически смеялись.

Напротив меня, на скамье сидела маленькая девочка, прижав судорожно к себе, как единственное дитя, ободранную куклу, похожую на труп женщины, вытащенной из под камней руин. Когда гул бомбовоза раздавался над нашими головами, девочка становилась белой и у нее

дергались губы. И вид маленького ребенка, уже понимающего, что это плохо, когда бомбовоз проходит над его головкой, был страшнее мысли о прямом попадании.

Потом я возвращался домой, Между руин полыхало пламя и улицы еще были покрыты желто-серым туманом пыли. На камнях мостовой лежала какая-то серая птичка, убитая волной взрыва. Она лежала с открытым клювом, окоченевшая, вытянув лапки. Подошел немецкий мальчуган, с лицом усеянным большими, как клопы, веснушками. Окованным носком ботинка он ударил, как мяч, мертвую птицу. Она взлетела и упала на щебень, и запахнулось широко одно ее крыло, с белым и серым пухом.

И от руин, от окованных тяжелых ботинок мальчугана, от его оловянных глаз и рыжих веспушек, от мертвой птицы, лежащей с распростертым крылом, уткнув открытый клюв в мусор, меня охватила смертная, холодная тоска от этого, полного лютой злобы мира...

Я лежал в черной, промерзшей мгле комнаты, и озноб ледяными струйками пробежал по телу... Когда, где-то на окраине, голосом околевавшего хищника, завывала первая сирена отбоя, я вспомнил, что сегодня православный Сочельник.

И эта мысль вытащила из темных углов памяти стертые, покрытые пленкой тумана, видения... Голубой снег. Огромные золотые звезды на небе. Оранжевые огни в окнах... За большим столом, покрытым скатертью, хрустящей как снег под окнами, в комнате, где пахнет елкой, где золотятся от лампад ризы икон, к бабушке собрались в Сочельник, издалека и близка, вся огромная семья... Все в праздничном, все ласковые и добрые... И огни елочных свечей искрятся в их веселых глазах. Все добрые... Да, это — праздник доброты человеческой... «Мир на земле...» — это нежный и тихий Сочельник голубых сне-

гов, и теплые комнаты с огнями свечей... «И в человеках благоволение» — это доброта всех ко всем...

Все это беспредельно далеко, как детство, как утерянная навсегда родина.. Доброта ко всем...

И сегодня... Чужая, Богом и людьми проклятая страна, где, заслышав твой акцент, на тебя уже смотрят с ненавистью и брезгливостью....

На меня было навалено все теплое, что у меня имелось, и, все-же, я мерз... Укрылся с головой, чтобы было тепло.. Как у бабушки в Сочельник...

... Мы гуляли в те далекие Сочельники... И какие-то румяные девушки хватили за руки, и глаза у них искрились, как снег под лучами месяца, и спрашивали у нас имена... Хрустел снег. За окнами были елки в огнях, а месяц на небе был тот самый, который чорт украл и спрятал в мешок...

У меня никого нет в этом городе. И здесь сегодня будни. И еще горят дома, и со вчерашнего дня раскапывают засыпанных в погребах людей...

Но, я пойду и буду бродить по улицам и смотреть на звезды... Колючие звезды зимнего неба. Они принадлежат не немцам, а всем...

... И я вышел на улицу. Небо очистилось от туч. Сияли звезды и месяц. Был ветер, не по-зимнему теплый. Шумный ветер! И пахло гарью от разбомбленных руин...

Впереди шел высокий и сутулый человек в черном плаще... И если бы не этот черный плащ, развеваемый ветром, он был бы похож на мою длинную тень, падающую вперед под светом месяца. А, может быть, это была моя тень...

Я думал, а вдруг, в этом городе есть какая-то добрая и теплая семья моих соотечественников! И у них зажжена елка в этот Сочельник. И в комнате тепло, пусть даже не очень тепло, но там нет стужи моей конуры, где в углах уже выступил иней...

Я услышу русскую речь на улице, подойду к ним и скажу, как мне холодно. И они возьмут, обязательно меня в свою отопленную комнату, зажгут свечи на елке, и будут добры и ласковы со мной, ибо я почти замерзающий под окном «рождественский мальчик»... Ну, пусть, мальчик — переросток, и даже с сединой на висках, которую я выдам за иней...

Но, нет... Нет больше чудес на этой злой земле. И нет больше добрых людей. Нет чудес! — почти громко сказал я... И тогда, шедшая впереди меня черная тень в плаще обернулась, остановилась и тихо произнесла, совсем чисто по-русски:

— Вы думаете, нет чудес?...

Месяц скрылся за тучей. Я не видел лица незнакомца. Но, он был совсем близко подле меня. Я растерялся...

— Какого же чуда-вы хотите? — спросил еще тише он.

— Я хочу видеть и слышать добрых людей. Добрых ко всем...

Ветер наскочил, рванул полу его плаща, она ударила черной завесой в мое лицо, закрыла меня с головой. Она пахла ветром и пылью. Черный, душный плащ. Я оттолкнул его рукою... и чуть не ослеп...

... Яркое весеннее солнце светило надо мной. Я стоял на краю обрыва, над зеленой, до боли в глазах зеленой долиной.

Внизу, залитая потоками солнечных лучей, лежала неведомая страна.

Я спускался по дороге, и с каждым шагом воздух становился теплее.

Мне встречались на дороге незнакомые дети и румяные, с белоснежными волосами старики, и они меня приветствовали, радостно и тепло, как старого друга.

Эта была страна Алида.

Она утопала в цветущих садах, и ветви гнулись под тяжестью цвета.

Веселый ветер весны шумел над садами и посыпал дорогу лепестками

Здесь никто не хмурил неприязненно лицо, слыша мою чужеземную речь.

Наоборот, мне казалось, что все радовались ей и слушали ее с восхищением, как незнакомую, но прекрасную мелодию.

Я пришел к ним из страны, где каждого чужеземца рассматривали только как раба, той или иной категории.

Я пришел к ним из мира, где в споре с человеком инаковерующим — единственным аргументом, должным его переубедить, было наставленное автоматическое оружие. Разумеется, проповедывать пулеметом легче, чем словами, ибо для последнего надо уметь, хоть как-то, мыслить.

Да, страшное и гнусное время, когда высшим авторитетом стало многозарядное оружие!

Люди больше не ссылаются ни на опыт, ни на мысли своих умных предков; они не вызывают ни к разуму, ни к сердцу, ни к знанию; они просто пожевывая папиросу в оттопыренных орангутаньих губах, вытаскивают громадный револьвер...

Я был в Алиде человеком чужой веры, чужой крови и чужого языка. Все, что я говорил — было им чуждо. Но они не лишали меня слова, не тащили в зловонные бараки концлагеря. Они поглощенно слушали, и в их глазах можно было прочесть благодарность мне за то, что я им сообщаю что-то новое, им несвойственное.

Все, что я видел и встречал в этой стране, было пропитано добротой.

Доброта была и верой и идеологией этого государства.

Прежде всего, там жители не знали значения слова «война». Когда я им проиллюстрировал это при помощи жестов, показывающих, как один человек убивает другого — они даже побледнели и отшатнулись от меня. И я,

в эту минуту, почувствовал себя диким каннибалом, который, едва прикрытый вонючей шкурой, входит в приличное общество, одетое в шелка и фрак.

Реальность того, что один человек, в какую-то долю секунды, превращает другого в кусок бездыханного мяса — им осталась не более понятной, чем бред сумасшедшего.

Оказалось, что те редкие конфликты, которые возникают между автономными штатами этой страны, разрешаются здесь не при помощи братских могил на несколько миллионов мертвецов, а... «единоборством в диалогах» двух, самых умных, представителей, если можно так сказать, — враждующих штатов...

Я попытался замаять этот разговор, боясь, как бы мои рассказы о войне не внушили бы им отвращение ко мне, сведя его в более шутиливую плоскость. Я спросил: а что они делают с теми юношами, которые ради побед над неумными девушками, хотят подвергать себя, возможно чаще, опасностям?

— Мы их определяем в пожарные команды, — ответил мне туземец.

Второе фиаско я потерпел, когда стал спрашивать: существует ли у них такая вещь, как политические партии?

Этого они тоже не поняли до конца. Вернее, они поняли, что партия — это такая затея, при которой один или несколько человек, вообразивших себя спасителями человечества, выдают членские билеты десяткам тысяч прохвостов и лодырей, которые, вместо честных трудов, предпочитают заниматься запугиванием народа, заключением его в тюрьмы, концлагеря и организацией массовых казней и пыток голодом.

Алидцы только спросили меня: должно ли сие происходить в сумасшедшем доме и галлюцинациях параноиков?

И, когда я ответил отрицательно, они так покачали

головами, что я понял: при всей своей доброте и отчаянных попытках остаться вежливыми, они все же усомнились в нормальной работе моего мозга.

Оказалось, что правительство у них составляется из самых одаренных и умнейших сынов народа, и для этого не требуется ни нечистот партийной борьбы, ни бедлама избирательных компаний, ни шарлатанской саморекламы кандидатов, ничего, ибо, как выразился один седовласый туземец: «Громадный ум и великая душа, как бриллианты, — сами светят и всем видны».

Главной задачей их правительства, как я установил, является не создание конфликтов с соседними государствами и широкое строительство новых тюремных зданий; и даже не ограничение всех свобод людских, — но только «делать все мыслимое и немыслимое для расширения счастья и благосостояния народа; вести каждого человека к совершенствованию и ограждать каждого подданного от всего, что ему лично вредно».

В этом светлом государстве, правительство не щадит средств на организацию научных институтов, целью которых является совершенствование человека, его этики и морали. Там я ни разу не услышал слов: «класс», «масса», «группа». Там отдельный, неповторимый человек — дороже всего.

Я побывал в «Институте борьбы с жадностью и эгоизмом», в «Институте борьбы с ленью», и только завистливо и грустно вздыхал в стенах этих человеколюбивых учреждений.

Их солнечные города — были чудом!

Зодчие Алиды строили не города-кладбища, как строим мы, а города — сады.

Город у них остался только как цитадель, как центр правительственных и культурных учреждений, но жилье человеческое от него отделено.

Цитадель — необитаема.

Жилые дома удалены в целебную близость к природе. Они лежат на великолепных дорогах, окруженные лесами и садами. С урбанизмом, как машиной, умерщвляющей человека — в Алиде покончено. Города-спруты, тесно сдвинутые многоэтажные «гроба домов» — остались только, как страшное воспоминание о варварстве, и только в учебниках по архитектуре.

Правительство Алиды, еще на заре своих трудов, заявило: что шелковые платья и бриллианты у граждан могут быть, могут и не быть, но чистый азон для дыхания — быть обязан, как хлеб, как неотравленная вода для питья, как свобода.

Я прочел декларацию прав гражданина Алиды. Там была статья, которая для меня, человека иного мира, звучала как сказка, волшебная и несбыточная. Статья называлась: «О свободе человека от страха»...

Да, государство гарантировало своим подданным полное избавление от унижительного насилия страхом, во всех его видах. И прежде всего, — от террора, этого «ужаса и позора».

Граждане Алиды спят спокойно. Они избавлены от страха, что за убеждения и веру, их схватят ночью с постели, втолкнут в полицейскую машину и поволокут в тюрьму, на пытки и казнь. Они избавлены от страха высказывать свои подлинные мысли и взгляды. Они не боятся стать жертвой доноса и клеветы. Они избавлены от страха перед нищетой и голодом, и, что в старости или при болезнях, общество бросит их подыхать на улице, как никому ненужную собаку; страха стать объектом чьей-то эксплуатации; страха быть унижаемым и лишаемым каких бы то ни было исконных человеческих свобод.

Они повели меня в свой город. Там не было ни злобных фабричных труб, ни мечущихся по улицам лю-

дей, с лицами изжеванными заботами и нищетой, но там было много цветов и деревьев в весенней пене.

На площадях не обучали юношей, как надо наиболее ловко убивать людей, и не мчались машины с людьми, одержимыми бесом скорости.

Кто-то сунул мне в руки охапку белых роз, с каплями росы на упругих лепестках; сунул только потому, что я был чужой в этом городе.

В этой стране не страшно было остаться одиноким. Каждого одинокого брала под свою защиту какая-нибудь семья. Но, обязательно, семья очень счастливая, обладавшая такими богатствами радости и тепла, что могла уделить чужому не милостыню, а сокровища.

Здесь людей, за их веру или заблуждения, не казнили голодом, темными мешками тюрем и колючими клетками загонов концлагерей. Здесь людей берегли и любовно выращивали, как пестуют садовники дорогие сорта фруктовых деревьев.

Каждый заботился о том, чтобы гусеница не испортила шумящую листву души другого.

Счастье подданных было национальным богатством, и никому не разрешалось его расхищать.

Я ходил по их селам, городам и тщетно искал человека, который бы мучил и унижал другого, по врожденной людской злобе, или от скуки, как это я видел в моем мире. И не нашел. Как не нашел следов разрушенных войнами жилищ, нечистот борьбы партий и той плодотворной деятельности профессионалов политики, которая оставляет после себя снесенные с лица земли города, новые тюрьмы и свежие братские могилы расстрелянных.

Под стеклянными крышами, пронизанными солнцем, среди апельсиновых деревьев и цветников, тихо жужжали какие-то хитроумные и сложные машины. Склонившиеся над ними рабочие в белоснежных халатах,

были похожи на веселых мастеров детских игрушек. Они, с легкостью и мурлыканьем под нос, что-то выделывали, быть может, куклы...

Один из них положил в мою руку нечто, сиявшее на солнце, похожее на серебрянную юлу. Но эта, ослепившая меня, игрушка — оказалась турбиной, берущей энергию из воздуха... Эта безделушка заменила в Алиде все чадающие и ревущие двигатели.

Юноши и девушки повели меня на высокий холм, откуда, как с орлиного взлета, предстала передо мной их благоуханная страна.

Сады... Сады, без края и конца... Изредка, среди них поднимутся к небу, в каком-то порыве экстаза, золотистые или белоснежные тела зданий и храмов.

Ветер на высоте холма был похож на вздымающийся хорал... И кто-то из юношей заботливо накинул на мои плечи плащ, ибо среди них я был старейшим...

Я шел по дороге среди полей. Солнце грело спину.

Ветер веспы пел в ушах. Юная зелень разрывала почки и тянулась к лучам. В садах и на полях работали академики и слесаря, поэты и огородники. Композиторы занимали лопату у соседей-портных. Все дружно взрыхляли свою золотую землю и, наверно, не под картофель, а под цветы...

И я понял почему они счастливы и непреодолимо добры.

Они постигли одну простую истину: человек обречен на короткую жизнь на этой земле. Природа наваливает на него столько опасностей, болезней и горя, столько тяжести бытия, что было бы безумием, чтобы еще люди мучили друг друга. Смысл бытия человека: скрашивать радостью и добротой жизнь своего ближнего, такого-же обреченного на смерть... Будь добр к другим!...

Я обернулся. Солнце золотыми потоками падало передо мной, искорками сияло на ресницах.

И на повороте вырос он. Он, человек в черном плаще.

Он подошел ко мне. И снова набежал ветер, распахнул черный плащ его и окутал меня душной мглой.

Обеими руками я рвал с себя черную тяжесть, чтобы увидеть снова Страну Добрых и ее солнце...

...Меня душило одеяло и пальто, надвинутые на лицо. Я откинул их...

В окне был зеленый, мгlistый рассвет...
И выла сирена воздушной тревоги...

В СОЧЕЛЬНИК

Это было очень давно, так давно, что кажется будто оно совсем не было, или только снилось...

В детской — полумрак. Высоко в углу горит лампада. Лик Николая Мирликийского — суровый. Строгие-строгие глаза. А над ними, как сияние, — снег волос. Поднятые персты его — худые, желтые, и чуть дрожат, или грозят. Живые глаза его устремлены на меня...

Лампадка — зелено-голубая. Она погружает детскую в изумрудную полутьму. А над ней — желтый лик святого.

За ажурной занавеской — синяя морозная почь.

В детской жарко натоплено и пахнет елкой, апельсинами и легкой гарью свечей. Дверь в гостинную полуоткрыта. Там во тьме стоит украшенная елка... В тишине слышно, как чуть позванивают огромные золотые шары на елке. Это крошечные серебрянные эльфы с голубыми крыльями, воспользовавшись тем, что все улеглись спать, сели верхом на шары, раскачивают их и катаются, как на качелях, звеня о елочную хвою, задевая золотые орешки и зеленые бусы...

Под елкой, в снежной вате, покрытой блестками, тоже все живет... Покряхтывая и постукивая валенками, об-

лепленными снегом, ходит маленький Дед-Мороз, с кирпичного цвета лицом, длинной белой бородою и мешком игрушек за плечами. Он отыскивал сидящих под елкой кукол и раздает им маленькие игрушечки. Такие маленькие, что их видно только в увеличительное стекло...

Расставленные под елкой, оловянные солдатики, мчащиеся на конях бедуины и зуавы в красных фесках, вздымают белые облака пыли и уже начинают сражение, которое будет кипеть до первых пестухов...

За окнами — деревья, за ними — лес огромных елей, с подушками снега на ветвях. Там тоже чудесная жизнь!.. В снегах, под елками мерцают и движутся крошечные огни, как светлячки, не больше... Это — фонарики. Их держат в руках гномы. Гномы похожи веселыми лицами на Деда-Мороза. Только бороды по-меньше. Они одеты в кожаные костюмы. Скрипят снежинки под их окованными сапожками. Согнувшись, они несут золотые и серебрянные шары для елок. У них было много работы в эту неделю. Сегодня они должны сдать Деду-Морозу золотые шары для елок тех бедных, у кого совсем нет игрушек. Дед-Мороз должен успеть разнести их за ночь по всему-всему городу...

* * *

С каждым годом, подрастая, мы теряли этот волшебный мир, мир чудес, где все было одушевлено, где все было сказкой.

Мы убеждались, что пальцы у Николе не шевелятся — а написаны смесью киновари, охры и белил; что нет ни эльфов, ни голубых крыльев, и эльфы не катаются верхом на золотых шарах, а, под влиянием земного тяготения, шары скользят по ветке и производят еле слышный звон во тьме гостинной; что Дед-Мороз,

принесший нам в вечер сочельника игрушки — не старик-волшебник, а переодетый дворник, которому приклеили ватную бороду и заплатили рублевку за труды.

Что куклы не играют по ночам под елкой, и не оживают оловянные солдатики, хотя-бы уже потому, что они сделаны на немецких фабриках.

Что в лесах по ночам изредка пробежит голодный волк, но там нет и в помине гномов; а елочные игрушки за гроши делают чахоточные девицы, и делая их, клянут проклятую жизнь и живодера хозяина...

С каждым годом умирало в нас волшебное детство. И мы уже знали, что до звезд рукою не достанешь, и вообще их не достанешь, ибо до них тысячи «световых лет».

Мы вырастали и все чаще с горечью твердили: «чудес больше нет в этом мире».

И наша земля, казавшаяся нам в детстве беспредельным, бескрайним царством волшебного, — в один из дней, представляла перед нашим взором: жалкой песчинкой в космосе, атомом в теле какой-то амебы в океане вселенной.

Мы убеждены были, что с каждым ударом по «бредням», «бабушкиным сказкам», «ирреальному», «бреду идеалистов и мистиков», с каждым новым научным открытием — мы будем становиться все счастливее и счастливее...

Но сотни лет свидетели того, что мы становились с каждым годом все несчастнее, все более одинокими; все холоднее нам становилось жить на земле, где мы убили сказку и веру в чудо.

И когда, из далекого-далекого ушедшего, встает в моей памяти сочельник детства, — он мне кажется потерянным, невозвратным раем, счастьем, которое больше не будет дано...

ВМЕСТО КОЛЫБЕЛЬНОЙ

... Спи!.. Ух поздно, спи... Как говорится, спи мой чиж!..

Мама не уехала в Париж. Она просто ушла стирать белье в умывальнике. А мне велено тебя заставить спать. Да... Уж поздно-поздно, мой сынок... Как на поле битвы, в мертвом сне, спят разбитые тобою игрушки на полу... За окном барака — тьма, а за тьмой — черный лес, а в лесу растут немецкие дрова. Да...

Полагалось бы тебе спеть колыбельную песенку. Но, ты знаешь, мой сынок, у меня нет голоса. А просто немusыкально мычать — будет смешно, ты будешь улыбаться. А смеяться детям на ночь нельзя. Да...

Ты так сосешь свою соску, словно хочешь из нее выпить сон. И смотришь на меня серьезными глазами. Я знаю, ты любишь, когда я с тобой разговариваю. Ты меня не понимаешь, но тебе приятно прислушиваться к моей речи. А может быть, ты и понимаешь. Кто знает...

Не хнычь, я опять заговорил. Спи, сынок... Вместо колыбельной песни, я заговорю тебя.

Спи, мой баварец! Да, да, не криви мордочку. Из песни слов не выбросишь. На всю твою жизнь, в твоём паспорте будет стоять: родился в Баварии, в городе, прославившимся светлым пивом. Я пива не пью, и мне эта слава не нравится... В школу ты пойдешь в какой-нибудь Аргентине. Конечно, ты будешь счастливее меня. Ты прочтешь «Дон-Кихота» в подлиннике. Но, мне очень грустно, сынок, от мысли: что ты будешь целые дни тараторить по-испански со своими сверстниками. А вернувшись домой, путать вместе с русской речью совсем-совсем чужие слова... Ничего не поделаешь, спи мой сынок... Ты, ведь, «ди-пи»... В университете ты будешь уже учиться на английском языке. Все хуже, с каждым днем чужее будет становиться тебе материнский язык, с тех пор как ты станешь жить один... Все может быть, станешь ты подданным чужой страны. И уже ничего не останется в тебе русского. Эта мысль страшна мне, как тьма за окном для тебя... Как черное окно, в котором мелькнет чужое же белое лицо... Спи, спи...

Но сейчас, ты еще мой... Прижмись ко мне. Вот, так... Я еще никому тебя не отдам. Твое маленькое тело, в котором бьется моя кровь, кровь русских...

Ро-с-с-ия!... Ты слышишь сынок? Слышишь, словно весенний ветер над бескрайним полем звучит в этом новом для тебя слове: Россия!...

Свет и огонь ты называешь «А-а» Солнце ты тоже зовешь «А-а» но еще поднимаешь к нему свою рученку...

Так вот, там далеко-далеко на востоке, где утром поднимается большое «А-а»; за австрийскими и карпатскими горами, лежит исполинская, голубая и сказочная страна, родина твоего отца и твоя родина...

Как тебе сказать сынок... Это была самая большая и самая прекрасная страна в мире... В ней было все. И студенные океаны, с вечными изумрудными льдами, и заливы в которых росли лотосы и куда прилетали отды-

хоть из Африки розовые пеликаны. В ней можно было найти и чахлый мох тундры и пальмы. И белых медведей, и своих русских тигров. Твой отец видел и лиловые куски аметистов, торчавшие из скал и бледно желтые самородки золота в простом речном песке. На земле нашей родины поднимались самые высокие в мире горные хребты, и тянулись бескрайние, как небо, степи и пустыни. В ней было все, о чем только мог мечтать человек. Она была величественна и прекрасна, как подарок самого Бога... И там не было таких мрачных бараков в каких мы живем с тобою сейчас, сынок... Спи не слушай, спи мой...

От одного края ее можно идти на Восток два года и слышать везде русскую речь. Этот волшебный девучий язык, который ты любишь слушать, под звуки которого ты дремлешь...

Ты очень маленький у меня, совсем крошечный, еще нет и трех месяцев, как ты стал на ноги, но ты уже любишь простор, как любит его всякий русский. Я замечаю это по той радости, с какой ты носишься по двору, и по тем слезам, какие проливаешь, когда тебя усаживают опять в коляску... Но не беспредельными просторами была славна твоя родина, а тем, чего сейчас уже ты не встретишь подрастая в чужом нам полушарии. Это была страна самого доброго в мире народа. Два года ты шел бы мой сын на восток, и в каждой избе тебя приняли и дали бы ночлег, как родному. Только на нашей родине были люди, которые растрчивали до тла неслыханные богатства на то, чтобы угостить чужих людей. Нигде в мире не было так много людей, раздавших все нищим и ушедшим в монастырь, как на нашей доброй родине. Ты вырастишь и увидишь много ликов Христа, и в храмах Кастилии, и в базиликах латинского запада, но самый добрый лик Бога — наш кроткий русский Спас...

Все тяжелее опускаются твои большие ресницы, ты засыпаешь, мой родной. Спи, мой маленький ди-пи!... Даже в рифму, видишь складно как?...

И у нас на родине издавна были «ди-пи». Они бежали к нам из многих стран мира. Но мы их не морили голодом, не сводили сума от пытки страхом, не выдовали их тем, от кого они бежали. Мы не знали куда их посадить, мы носились с ними, мы хвастались ими, закармливали, баловали почестями и устраивали на самые лучшие места. И даже плененные враги наши, не хотели возвращаться на родину свою и оставались у нас навсегда... Ибо мы — добрый народ.

На нашей святой родине ни один французский и немецкий «ди-пи» никогда не жил в такой страшной конуре в какой засыпаешь ты, мой мальчик. И дети беженцев, нашедших приют в России, не были так худы и бледны, как ты, мой дорогой. Они не голодали. Последний нищий на Руси жил лучше, чем мы с тобой сейчас...

Ты уже спишь, сынок... Тс... Жаль... Я не успел сказать тебе самого главного... Я счастлив и горд быть причастным к тому, что еще один будущий человек понесет по миру в своем теле драгоценную кровь русского народа...

В ТЕМНЫЕ ВЕЧЕРА

В темные вечера, когда под порывами ветра скрипят ставни, а дождь как песком ударяет в стекла окна, все чаще и чаще приходит на душу то, что стало давно чем-то затрепанным, тривиальным, вызывающим уже насмешливую улыбку у других, то, что некогда звалось.. тоской по родине...

Она никогда не рождает во мне вида поезда, окна, в которое смотришь и с колотящимся сердцем ждешь полосатого столба, где кончается все чужое, и где увидишь первый клочек святой земли родины.. Объятий и слез на вокзале. Забытых, ставших совсем иными, улиц Петрограда...

Всегда и везде, мне чудится одно и то-же...

... Трескучий, голубой вечер снежной зимы. Медные огоньки крошечных окон избы...

В избе тепло и темно. В избе пахнет опарой теста. Из раскаленной печи старуха, повязанная платком, выгребает кочергою угли. Сейчас будут ставить в печь хлеб...

Хлеба поставили, закрыли печь и в избе стало совсем темно. Синь вечера сочится в окошко, слышен хруст снега и эхо, звонкого и колкого, как мороз, как свет зимних звезд, далекого смеха... Сохлая рука старухи засветила лампаду у лика, такого древнего, как и ее лицо. Зажгла, спустилась со скамьи, склонила голову и шепчет молитву...

За печью робко пост свертек.

Меня, как гостя, кладут спать на печь, вместе с дедом Дорофеем.

Я забираюсь... там душно. Дед сидит в полутьме. Ноги его прикрыты тулупом. Я вижу его большую седую бороду, слышу его голос с хрипотцой, но полный давно-давно мною позабытой родной доброты.

«Лягай, лягай Александрович... Я тебе, родимый, под головку положил пучек мятки... Да, да... Оно — безделка, а ночью дохнешь — и в грудях так просторно станет, будто летом в сене спишь, на ночном... Лягай, родимый... А смерзнешь к утру — тулупчик в ногах я тебе припас... Спи, родимый, Христос с тобою...»

В избе тишина. И даже сверчек засыпает... Жарко, но за окном сугробы и трескучий мороз... и от этого жар становится сладок..

За долгие годы бессонных ночей под чужими кроватями; за годы бегства и унылых скитаний; за ночи в тюрьмах и бараках; за ночи в душных поездах, полных чужого говора; за всю мятежную жизнь... я впервые засыпаю глубоко и спокойно... Я буду спать — сколько захочу и никто не потревожит меня. Я гость, но я — дома. Надо мною зимнее небо родины...

„ЗЛАТОУСТ“
РОССИЙСКОЕ ЗАРУБЕЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
SCHLEISSHEIM/BAYERN